

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



А.И. Солженицын

**МАТРЕНИН  
ДВОР**



Школьная библиотека (Детская литература)

Александр Солженицын  
**Матрёнин двор. Рассказы**

Издательство «Детская литература»

1959

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Солженицын А. И.**

Матрёнин двор. Рассказы / А. И. Солженицын —  
Издательство «Детская литература», 1959 — (Школьная  
библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-005192-0

В книгу замечательного русского писателя А. И. Солженицына входят рассказы «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и цикл миниатюр «Крохотки». Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-005192-0

© Солженицын А. И., 1959  
© Издательство «Детская  
литература», 1959

## Содержание

Подпольная литература А. Солженицына в проломе свободы	8
Один день Ивана Денисовича	19
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# **Александр Солженицын**

## **Матрёнин двор**



*А. Солженицын*

**1918—2008**

*Художник В. Бритвин*

В издании сохранены авторские орфография и пунктуация. Их принципы изложены в работе «Некоторые грамматические соображения» (Солженицын А.И. Публицистика: в 3 т. Т. 3. Ярославль, 1997)

Предисловие  
Л. И. САРАСКИНОЙ

## Подпольная литература А. Солженицына в проломе свободы

В летние каникулы 1959 года учитель физики и астрономии рязанской средней школы № 2 Александр Исаевич Солженицын написал большой рассказ, размером с повесть. Ни ученики, ни педагоги-сослуживцы и не подозревали даже, что этот немолодой (за сорок), вежливо замкнутый преподаватель, избегающий праздных разговоров в учительской, увлекается словесностью. Судя по тому, как он вёл свои предметы, как умел заинтересовать класс, можно было предположить, что его досуг посвящён чтению специальной литературы – по физике, астрономии и математике, особенно им любимой. Позже завуч той школы обескураженно заметит: ему казалось, что молчаливый физик втихую готовит новое учебное пособие или сборник задач.

Сам же учитель нерушимо хранил тайну, о которой в целом мире знало всего несколько человек, проверенных общей судьбой и общей бедой. Приходя в класс точно по звонку, никогда не задерживаясь в школе без веской причины, сторонясь долгих совещаний и шумных компаний, он берёт время для главного дела своей жизни. Ибо преподавание физики было в тот момент внешней стороной бытия скромного учителя и надёжно прикрывало богатейшее литературное подполье большого писателя.

К тому моменту, когда во двореке деревянного дома, где росло несколько вишнёвых деревьев, он вырыл в землю стол и скамейку, чтобы устроить свой летний рабочий кабинет (там, «под вишнями», и будет написан легендарный рассказ), у него накопилось уже немало: стихи и пьесы, повесть, поэма, варианты большого романа, наброски, заготовки – планы и замыслы грандиозных масштабов.

Все главные события, которые определили писательскую судьбу Солженицына и стали сюжетами его книг, к тому времени уже произошли, но самим книгам до поры предстояло оставаться в неизвестности, без внимания критиков и читательской поддержки. Минуло два года, как он поселился в Рязани, купил маленькую пишущую машинку, жил тихо и неприметно, только во сне видел себя лагерником, закоренелым эком, и никогда – вольным. Свой срок, восемь лет тюрем и лагерей, он отсидел от звонка до звонка, а последующая ссылка «навечно» благодаря хрущёвской «оттепели» ограничилась всего тремя годами. 6 февраля 1957 года решением Военной коллегии Верховного суда СССР он был реабилитирован – то есть признан невиновным в том политическом преступлении, которое ему, командиру батареи звуковой разведки капитану Солженицыну, награждённому боевыми орденами, вменили в вину и за которое его арестовали в феврале 1945-го прямо на фронте.

А до этого он успел пройти всю войну – от срединной России до Восточной Пруссии, начав рядовым в 41-м, выучась на артиллериста в 42-м и став боевым офицером. Фронтные письма к школьному товарищу, где Сталин назывался паханом, попали в СМЕРШ (грозную карательную организацию «смерть шпионам») и оказались страшной, неопровержимой уликой. Арест, уголовное следствие и приговор были неминуемы – и мстительную власть не смягчила даже радость победы над фашистской Германией. Праздничный салют 9 мая 1945 года арестант Солженицын смог услышать через решётки Лубянской тюрьмы. «Не для нас была та Победа. Не для нас – та весна». Судьба переломилась надвое, когда ему не было и двадцати семи.

Но и прежде жизнь не слишком баловала его. Он родился в Кисловодске в 1918-м – в разгар Гражданской войны, когда кроваво переломилась судьба страны. Он никогда не знал отца, погибшего за полгода до рождения сына, и был воспитан матерью-вдовой, сполна хлебнувшей горечь одинокого обездоленного существования. Первые впечатления трёхлетнего

мальчика, навсегда оставшиеся в памяти: в кисловодскую церковь во время богослужения входят чекисты и, прорезая онемевшую толпу, с грохотом врываются в алтарь – грабить...

Каждый человек рано или поздно задает себе вопрос – *что ему досталось из детства?* Солженицыну выпало нищее школьное детство в Ростове-на-Дону – выбиваясь из сил, мать зарабатывала изнурительным трудом стенографистки, беря бесконечные сверхурочные. «Я не знал, что такое дом. Мы жили в хибарках, туда всегда проникал холод. Всегда не хватало топлива. Воды в доме у нас никогда не было, приходилось идти за ней далеко с ведрами. Пара ботинок или один костюм служили годами».

Где-то возле дома были зарыты в землю царские офицерские ордена отца, артиллериста на Первой мировой, под запретом была сама память о нем. С клеймом «кулак» скитался дед, отец матери; и вся семья деда переезжала с места на место, еженощно ожидая обыска и ареста. В начале 1930-х, после многих допросов и пыток, дед сгинул в застенках ГПУ. Зловещая тень этого учреждения, напишет позже Солженицын, «заслоняла небо»: ежедневно, в течение десяти лет, возвращаясь из школы, он шёл домой вдоль бесконечной глухой стены, мимо длинной очереди женщин, которые ждали на холоде часами, и уже с шести лет знал, что это стоят с передачами жёны заключённых...

И все же юноше Солженицыну повезло: густая тень той стены накрыла его не сразу и сперва даже поманила отсрочкой – на учебу. Окончив среднюю школу, а потом, в самый канун войны, и Ростовский физмат, он получил образование и профессию, которые кормили его и в конце концов спасли ему жизнь. Но ведь было ещё призвание и предназначение! Уже с девяти лет он знал, неизвестно почему, что будет писателем. «Откуда в нас появляется такое – это загадка, тайна». С третьего – четвертого классов школы он не сомневался, что посвятит писательству всего себя, и непостижимым образом чувствовал, что сможет, должен «что-то такое написать». Но что и о чём он мог писать? Какие потрясения должен был пережить ребёнок, какие впечатления получить, чтобы так рано и так решительно распорядиться своим будущим?

Мальчику, рождённому под сенью революции, не нужно было далеко ходить за сильными впечатлениями: он испытал настоящий ожог от революционной темы, которой был опалён и испепелён мир взрослых. Так он осознал – *о чём* нужно писать. Судьба распорядилась, чтобы заблаговременно был получен и выдающийся художественный знак – *как* нужно писать. В десять лет он прочёл «Войну и мир» Толстого и был потрясён грандиозным историческим охватом русского романа-эпопеи. Почти случайно попались на глаза страстные, захватывающие воспоминания члена Государственной Думы Шульгина. Оставалось соединиться этим двум впечатлениям: пример «Войны и мира» подсказал, каким может быть крупномасштабное сочинение о русской революции.

В десять лет началось и политическое мужание Сани Солженицына. Газету «Известия» с отчётами о судебных процессах он предпочитал романам Жюль Верна и Майн Рида, и его чистое воображение не только не обманывалось громовыми речами государственного обвинителя, но всякий раз было оскорблено грубой подстроенностью судейских фарсов, где фабриковали «инженеров-вредителей» и «врагов народа». Детское ощущение огромного давящего катка, который катится по стране, спустя полвека воплотится в главный труд его жизни – эпопею «Красное Колесо».

День 18 ноября 1936 года запомнился ему навсегда: вчерашний школьник, а ныне студент-первокурсник, он шел в смутном волнении по Пушкинскому бульвару Ростова, и вдруг его будто пронзило: надо писать роман о революции, начав с Первой мировой войны. Описать всего-навсего одну битву, показать через неё всю войну, но выбрать эту битву так, чтобы ход её и результат вели к причинам революции. И сразу же, без колебаний, он начал работать, и уже ничто не могло свернуть его с этого пути. Первые наброски замысла были сделаны неустоявшимся школьным почерком в ученической тетрадке (и эти листки чудом уцелели,

пережив бомбёжки и пожары войны). «С тех пор я никогда с ним не расставался, понимал его как главный замысел моей жизни; отвлекаясь на другие книги лишь по особенностям своей биографии и густоте современных впечатлений».

Но именно по особенностям своей биографии, по невероятной *густоте судьбы* Солженицын шёл к своей главной работе через такие события и такие впечатления, которые по накалу и размаху едва ли не превосходили масштабы задуманного труда. Да и что могло ожидать юношу, который был одержим образами революции, но не мог не замечать её роковых изъянов? Всё детство он простоял в очередях за хлебом, за молоком, за крупой; в его большом городе каждую ночь *сажали*; под гогот и улюлюканье ретивые пионеры срывали с его шеи нательный крест. Однако не школа и не университет, не мирная городская жизнь, а война открыла его внутреннему взору крамольную правду о «красном материке», она-то, эта правда, и вошла в гражданское и художественное сознание будущего писателя ключевой поправкой.

Рано или поздно, но капитану Солженицыну неизбежно предстояло заплатить за честность и пытливость мысли. Приговор «за антисоветскую агитацию с попыткой создания антисоветской организации» был, конечно, трагической *буквой* судьбы, но само испытание сумой и тюрьмой стало *духом* судьбы. Драгоценно его собственное признание. «До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе... Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили». Тюрьма и лагерь, лишив свободы, парадоксальным образом вызволили тот дар, который бился в нем с ранней юности, и зэк Солженицын взрывается литературным творчеством.

Жестокий реализм выпавших на его долю Лубянки и Бутырки, специальных и пересылных тюрем от Москвы и Куйбышева до Омска и Павлодара, лагерей общего и особого режима от подмосковного Нового Иерусалима до Экибастуза, был таков, что существование писателя в них никак не предусматривалось. За найденный при обыске блокнот со стихами или рассказами можно было схлопотать второй срок. Путь писателя Солженицына в зоне начинался – с запойного сочинительства, которое, не имея выхода на бумагу, приговаривалось к немоте и загонялось в память. Но оно же стало могучей духовной защитой, ибо превращало каторгу в объект зоркого художественного наблюдения. Зэк, терпевший безмерные лишения, преображался в хроникёра-нелегала, который упорно копил впечатления, запоминает и, когда повезёт, тайно записывает. И Солженицын сложит гимн памяти – единственной надёжной *зачатке*, где только и можно держать сочинённое, проносить его сквозь этапы и *шмоны*.

Запретная литературная работа щедро вознаграждала сочинителя: в понурой колонне, под крики автоматчиков и лай собак, он испытывал такой напор мыслей и образов, будто его подымало над всеми и несло по воздуху; он запоминал километры стихотворных строк, тренируя память с помощью спичек и чётков; его обыскивали, «считали», гнали по степи, а он видел сцену сочиняемой пьесы, театральные декорации, цвет занавесов и каждый переход актеров. В такие минуты он был свободен и счастлив – будто совершил удачный побег.

Спустя много лет Солженицын скажет: «Я стал достоверным летописцем лагерной жизни». Первые же лагпункты дали материал для пьес и стихотворений; опыт «шарашки» – спецтюрьмы в подмосковном Марфино, куда его взяли как математика, – воплотился в сюжет и образы романа «В круге первом». Здесь, на «райском острове», где разрабатывалась секретная телефония, Солженицын встретил образованных сокамерников, получил доступ к книгам и впервые смог записать итоги своих писательских впечатлений. Однако после трёх «шарашечных» лет пришлось решать: оставаться со спецматематикой и «милым благополучием» сытой неволи или дать своей душе полную свободу на «общих работах».

С бесстрашием человека, которому ведомы знаки судьбы, он выбрал этап и лагерную тачку.

И вот Северный Казахстан, Экибастузский лагерь особого режима. Подъём в пять утра – под звон ударов молотка об рельс у штабного барака; полотняные лоскуты с номером Щ-232, нашитые на телогрейку, шапку и ватные брюки; хлебная пайка, жидкая каша, баланда из капустных листьев и мелкой рыбки; обыски до нижней рубахи на лютном морозе; арестантская «молитва»: «Шаг вправо, шаг влево – считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения»; два разрешённых письма в год; кирка, мастерок, цемент, кирпичи, норма и смена – десять часов, а с конвойным перегоном все тринадцать, от темна до темна.

Здесь, на шестом году заключения, Солженицын получил рабочую специальность каменщика, побывал и литейщиком. «Именно с того дня, когда я сознательно опустился на дно и ощутил его прочно под ногами, – это общее, твёрдое, кремнистое дно, – начались самые важные годы моей жизни, придавшие окончательные черты характеру. Теперь как бы уже ни изменялась вверх и вниз моя жизнь, я верен взглядам и привычкам, выработанным там», – признается он много лет спустя в национальном эпосе «Архипелаг ГУЛаг». На «общих работах» он испытал странные минуты любования удачно выложенной стеной, ощутил весёлый азарт от разбивания старого чугуна кувалдой и понял, что увлечение даже и принудительным трудом есть отстояние самого себя.

Был декабрь 1950-го, и в один бесконечный лагерный морозный день, когда он, как обычно, вместе с напарником таскал носилки, пришла мысль: описать и эту жизнь, и эту зону – одним днём. Один день одного среднего, ничем не примечательного работяги, с номерами на шапке и одежде, от утра и до ночи. И не надо нагнетать кошмары и ужасы, не надо, чтоб этот день был каким-то особенным, напротив – именно рядовым, из которых складываются годы. И всё станет ясно. Этот замысел остался в душе и памяти писателя на целых девять лет.

Но прежде чем взяться за однодневную историю отдельного зэка, Солженицыну предстояло пережить раковую опухоль, операцию, смертельный диагноз и невероятное, подобное чуду, исцеление (позже эти события отразятся в повести «Раковый корпус»). Вместе с выздоровлением появилась уверенность, что возвращённая жизнь имеет некую цель, специальное задание, – и теперь его следовало выполнить, а чудо – отработать.

После Экибастуза и Кок-Терекской ссылки с ее уникальным опытом учительства и писательства, после года работы в сельской школе под Владимиром и двух лет в школе рязанской и наступило время «Одного дня...». В то урожайное, поистине *болдинское* лето 1959-го Солженицын всецело отдался своему замыслу девятилетней давности. «Сел – и как полилось! со страшным напряжением!.. Я невероятно быстро написал «Один день Ивана Денисовича» и долго это скрывал». Невероятно быстро – это сорок пять раскалённых дней, когда воображение и память писателя сосредоточились в той точке жизни, которую он знал так, что уже не мог забыть никогда. Он берёг и бередил в себе эту память, устраивая в годовщины своего ареста, 9 февраля, «день зэка», – отрезал утром 650 граммов хлеба, клал два кусочка сахара, наливал незаваренного кипятка; к обеду полагались баланда с рыбьими костями и черпачок жидкой кашицы. Уже к концу дня, по голодному зэковскому обычаю, приходилось собирать в рот крошки и вылизывать миску.

Сперва рассказ носил название «Щ-854» – этот номер был выведен чёрной краской на лоскутах, нашитых на казённое обмундирование Ивана Денисовича Шухова, главного героя. В воображении писателя теснились десятки и сотни товарищей по заключению, которых он знал доподлинно, но неожиданно и неизвестно почему «незаконный прототип» выдвинулся на первый план. Даже сама фамилия – Шухов – «влезла» в рассказ без всякого выбора. Так звали милого пожилого солдата из подразделения комбата Солженицына: солдат не был в плену (как герой рассказа), никогда не сидел, и комбат даже не предполагал, что когда-нибудь станет о нём писать. Между тем вместе с фамилией в рассказ вошло лицо реального

Шухова, его речь, характер, повадки. Лишь лагерная биография досталась Ивану Денисовичу от «пленников», получивших сроки, а лагерная профессия каменщика – от автора.

С самого начала работы над «Щ-854» Солженицын понимал, что его героем должен быть рядовой зэк, которому обычно выпадает тяжёлый, чёрный труд. У работяги, который до войны был колхозником, а на войне солдатом, никаких шансов устроиться на лёгкие хлеба где-нибудь при столовой или в конторе нету, как нет у него и привычки образованного человека к умственным занятиям. За колючей проволокой Шухов живёт – *день за днём*, надеется только на свои руки, крестьянскую смекалку и радуется самым малым удачам.

Следуя за своим героем *шаг в шаг* – в штабной барак, санчасть, столовую, потом на *объект* и обратно, на нары, – автор создает малую энциклопедию лагерного быта, где всякая вещь имеет иную цену, нежели на воле. Но описанная строгим и аскетичным слогом лагерная этнография – это не цель, а суровый, подчас жестокий фон для той мысли, что трудолюбие и справедливость, собственное достоинство и деликатность – качества, жизненно необходимые для того, чтобы остаться человеком где бы то ни было. Иван Денисович, который радуется ровно выложенной стене, подрабатывает шитьём тапочек и мелкими бытовыми услугами, но презирует шакалов-вымогателей, удостоен высшей авторской похвалы. «Он не был шакал даже после восьми лет общих работ – и чем дальше, тем крепче утверждался».

Рассказ был закончен, перепечатан – но, как и всё прежде написанное, отправлен в стол. Ибо для литературы, которая в начале 1960-х заполняла толстые журналы, альманахи, книжные издания и собрания сочинений, писателя Солженицына не существовало. Он и сам был уверен, что никогда при жизни не увидит в печати ни одной своей строки, и даже близким знакомым не решался дать прочесть что-либо, боясь разглашения. Ведь именно эта нерушимая тайна была условием свободного, бесцензурного письма – а на воле, как в чужеземном плену, его родными были только зэки. Самые близкие из них считали, что публикация рукописей грозит гибелью, что надо таиться до конца – провал конспирации приведёт к провалу всей жизни и работы.

Так случилось, что литературно чутких людей среди товарищей-зэков не было. И Солженицына стало тяготить писательское подполье, длившееся уже второй десяток лет. Он нуждался в развитых, опытных читателях, которые могли бы оценить его труд по критериям искусства, а не только с точки зрения лагерных подробностей. Впервые за много лет он ощутил тупиковую безысходность своего творческого одиночества, в котором находился, как в заключении. Шло лето 1960 года; рассказ об Иване Денисовиче уже год лежал без движения, и автор чувствовал, что взаперти ему не хватает воздуха.

И тогда он решился – приоткрыть двери. Рассказ в машинописных копиях был пущен в «самиздат», в узкий круг семейных знакомых, с непредсказуемыми последствиями. Но результат от чтения «Щ-854» превзошёл все ожидания. И вскоре образовался маленький союз друзей, где с бурным успехом одна за другой читались и обсуждались его вещи. Эта скромная слава дала автору уверенность, что, может быть, его сочинения будут приняты и *не* зэками. Далее – будто что-то толкнуло писателя под руку. В начале 1961 года Солженицын, посмотрев на свой «Щ» внешним, критическим взглядом, перепечатал рассказ облегчённо, опуская наиболее резкие места, и вплоть до осени держал его уже открыто. И только в ноябре, после «оттепельного» XXII съезда КПСС, передал смягчённый вариант текста в либеральный «Новый мир», лучшему редактору страны поэту А. Т. Твардовскому.

Пошли напряжённые, мучительные недели. Такое вроде бы обычное дело – послать свой рассказ в журнал – казалось писателю-подпольщику непоправимой ошибкой. «Что я наделал? Ведь я – опять в их руках. Как мог я, никем не понуждаемый, сам на себя отдать донос?»

Томительно тянулась жизнь в Рязани, где-то невидимо двигалась судьба, и он боялся, что к худшему.

Наконец 11 декабря 1961 года, в день своего сорокатрёхлетия, Солженицын получил телеграмму от самого Твардовского: «Прошу срочно приехать в редакцию «Нового мира», расходы будут оплачены». Уже на следующий день состоялась их личная встреча и был заключён первый в жизни писателя журнальный договор. Вскоре был решён вопрос о названии рассказа – по предложению Твардовского, «Щ-854. Один день одного зэка» был переименован в «Один день Ивана Денисовича».

Однако намерение «Нового мира» опубликовать рассказ решающего значения не имело. Цензурная формула «подписано в печать» зависела – увы! – не от редакции, а от куда более высоких инстанций. Настороженность Солженицына была более чем оправданна – дверь в своё литературное подполье он приоткрыл разве что на палец. Приходилось избегать даже простых вопросов новомирцев, как долго шла работа над рассказом. Ведь признание, что «Щ-854» написан всего за полтора месяца, неизбежно требовало ответа – что же автор писал прежде.

Тем же декабрём он рискнул показать Твардовскому подборку лагерных стихотворений, несколько прозаических этюдов «Крохоток» и смягченный вариант рассказа «Не стоит село без праведника». Так называлась печальная история одинокой старухи крестьянки Матрёны Васильевны, волею судеб принявшей на квартиру учителя из недавних ссыльных, – будущий «Матрёнин двор». «Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сёстрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, – она не скопила имущества к смерти... Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

В той бедной, темноватой избе – «с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону», с колченогой кошкой, мышами и тараканами, а также толпой фикусов в горшках и кадках – и поселился в августе 1956 года новоприбывший учитель математики. Деревня Мильцево Курловского района Владимирской области, дом Матрёны Васильевны Захаровой близ высыхающей речушки с мостиком – таков был первый после казахстанской ссылки адрес Солженицына, истосковавшегося по нутряной Руси и получившего направление на работу в местную среднюю школу. Спустя три года, вслед за «Щ-854», была написана пронзительная история безропотной страдальцы, которая гибнет из-за жадности и стяжательства родни.

Так же, как «Один день одного зэка», ждала своего часа и «Матрёна». 2 января 1962 года состоялось редакционное обсуждение, которое завершилось общим и категорическим «нет»: «Эта вещь не может быть напечатана никогда». Нищенское бескорыстие героини, её трудная и беспросветная жизнь, само понятие праведничества не вписывались в координаты официальной пропаганды. (Как напишет позже ответственный партийный критик, «писатель взглянул на жизнь с позиций отвлечённых нравственных представлений и сузил картину действительности».)

Начиналась многомесячная борьба «Нового мира» за публикацию «Ивана Денисовича». Твардовский бился, не щадя сил, – заручаясь похвальными отзывами К. Чуковского и С. Маршака, уламывая партийных рецензентов, подталкивая и продавливая положительное решение. Судьба рассказа была решена в мирном домашнем чтении на даче в Пицунде: читал вслух эксперт Н. С. Хрущёва по культуре В. С. Лебедев, слушал сам Никита Сергеевич. Слушал и плакал, – особенно умиляясь сцене, где Иван Денисович стенку выкладывает да раствор бережёт; первый секретарь искренне был уверен, что автор славит социалистический труд. Этот ключевой эпизод повернул душу главному лицу государства – и теперь готовилось цензурное чудо.

Была осень 1962-го, и на жизнь учителя рязанской средней школы литературные чтения в Пицунде пока не влияли никак. «В лагерной телогрейке иду с утра колоть дрова, потом

готовлюсь к урокам, потом иду в школу, там меня корят за пропуск политзанятий или упущения во внеклассной работе». Но уже сверхсрочным, пожарным порядком, за одну ночь, велено будет произвести типографский набор в количестве двадцати трёх экземпляров и поутру раздать их партвождям. На очередном заседании политбюро Хрущёв потребует и вытребует-таки от них согласие на печатание «Ивана Денисовича». 20 октября высочайшее решение будет объявлено Твардовскому, и тут же из «Нового мира» полетит в Рязань поздравительная телеграмма: рассказ идёт в одиннадцатом номере журнала.

Первый раз Солженицын плакал над своим «Иваном Денисовичем», когда был вызван Твардовским в Москву держать корректуру. И вскоре синяя сигнальная книжка одиннадцатого номера «Нового мира» была доставлена на дом редактору журнала в присутствии автора. Кажется, в тот день, тоже впервые, они обнялись. «Птичка вылетела!» – как ребёнок, радовался Твардовский. Дата 18 ноября 1962 года стала моментом истины в литературной судьбе Александра Солженицына и в истории русской литературы XX века.

Удалось вытащить в свет и «Матрёнин двор» – сразу после выхода «Ивана Денисовича». «Такова была сила общего захвала, общего взлёта, что в тех же днях сказал мне Твардовский: теперь пускаем «Матрёну»! Матрёну, от которой журнал в начале года отказался... теперь лёгкой рукой он отправлял в набор, даже позабыв о своём отказе тогда».

Это было звёздное время не только автора, но и журнала. Едва долгожданный номер с «Одним днём...» появился в киосках «Союзпечати», как был мгновенно раскуплен; счастливые подписчики «Нового мира» выдавали одиннадцатый номер под расписку своим друзьям и знакомым; читатели библиотек записывались на него в очередь на много месяцев вперед. Первые отклики на «Ивана Денисовича» своим совокупным объёмом намного превысили размеры рассказа. «Солженицын продолжает лучшие традиции великой русской литературы... Несомненно, что в нашу литературу пришел новый, своеобразный, зрелый мастер, сильный и редкий талант... Повесть об одном дне лагерной жизни – не страницы воспоминаний, а лаконичная и отточенная проза больших художественных обобщений... Солженицын написал суровую, мужественную, правдивую повесть о тяжёлом испытании народа, написал по долгу своего сердца, с мастерством и тактом большого художника... Он рассказал нам такую правду, о которой невозможно забыть и о которой нельзя забывать, правду, которая смотрит нам прямо в глаза».

Тон критике задавала газета «Известия». Устами поэта Константина Симонова, автора знаменитого стихотворения военных лет «Жди меня...», были поставлены самые болезненные вопросы времени. Как могло случиться, что герой рассказа – хороший, добрый, душевный русский человек Иван Денисович Шухов – был обречён прожить в лагерях три тысячи шестьсот пятьдесят три дня, считая три лишних дня в високосные годы? Как могло случиться, что столько же, а то и много больше лагерных дней были обречены прожить все другие герои, соседи Шухова по бараку, по лагерю, и бесчисленные честные люди в других лагерях? Чья злая воля, чей безграничный произвол могли оторвать земледельцев, строителей, воинов – от их семей, от работы, от войны с фашизмом, наконец, и поставить их вне закона?

Обществу, литературе предстояли долгие размышления и трудные ответы. Солженицыну, после всех перенесённых испытаний – войной, тюрьмой, смертельной болезнью, бедностью, литературным подпольем, – предстояло выдержать искушение «медными трубами», то есть той сумасшедшей славой, которая обрушилась на него после выхода «Одного дня Ивана Денисовича», одобренного на самом «верху». Довелось ему и лично повидать главного организатора цензурного чуда, Н. С. Хрущёва, и благодарить его – от миллионов пострадавших. Никита Сергеевич, хотя и не выговаривал фамилии писателя и звал его тоже Иваном Денисовичем, искренне утверждал, что книга важная и нужная.

Обласканный и захваленный, Солженицын немедленно – без личного заявления, поручительств собратьев по перу и обычной процедуры – был принят в Союз писателей. Его звали в Москву, манили столичной пропиской, готовы были за полчаса выписать квартиру в центре города. Его пытались приручить – и наверняка приручили бы, будь его целью лишь писательская известность, высокое положение в официальной литературе и житейский комфорт. Но тогда это был бы вообще не он.

А он видел свою несовместимость с так называемым соцреализмом. И чтобы не замарать свое честное имя зэка, которого зовут в литературные генералы, – от московской квартиры отказался: ему тогда и в такси сесть казалось предательством, а естественно – только в автобус и электричку, с рюкзаком и тяжелыми сумками. Среди персон советской элиты он чувствовал себя чужаком. «В их литературу я никогда не стремился, всему этому миру официального советского искусства я давно и коренно был враждебен, отвергал их всех вместе нацело. Но вот втягивало меня – и как же мне теперь среди них жить и дышать?»

Солженицын намеревался распорядиться свалившейся на него славой самым лучшим образом – в пользу своей литературы. Более всего он дорожил временем; и вот уже был проведён последний урок физики Солженицына-учителя. Рязань теряла школьного педагога, но обретала выдающегося земляка. Его имя становилось самостоятельной силой, необходимой для борьбы за публикацию новых произведений. Быть может, на волне всеобщего ошеломления он бы мог успеть и больше и многое бы прошло беспрепятственно – главы романа «В круге первом», пьеса «Олень и шалашовка», которую брался ставить театр «Современник». Но чаще всего он говорил «нет», полагая, что этим оберегает свои сочинения. Так было отказано даже Ленфильму, готовому экранизировать только что напечатанный в «Новом мире» рассказ «Случай на станции Кречетовка». «Какая-то особенная возможность была у меня в те недели, я не улучил её. Я жил – у себя на родине, и несло меня сразу признание снизу и признание сверху».

Но волна взрывного успеха не могла держаться долго. Как только она схлынула, почти ни в чем не убедив и не изменив систему, власть принялась рьяно наверстывать упущенное. Триумф писателя продержался два месяца, после чего печатание его вещей было остановлено. Наступало тяжёлое время – оно продлится не месяцы, а годы – открытого противостояния литературным чиновникам и секретным ведомствам. Редакции газет, как по команде, стали помещать рецензии и отклики, где автора «Ивана Денисовича» клеймили за «добренький, жалостливый и уравниТЕЛЬНЫЙ гуманизм», пеняли, что в образе Шухова «не выражен светлый идеал народного героя», и делали вывод, что «идеологическим оружием этот герой служить не может». И вот уже в марте 1963-го, на второй кремлёвской встрече Хрущёва с деятелями литературы и искусства, те самые «творческие интеллигенты», кто еще в декабре 1962-го жаждал познакомиться с прославленным писателем, теперь демонстративно его избегали.

Как вещество, попавшее в среду антивещества, капля правды взрывается в мире лжи. В действительности этого закона Солженицын, физик и писатель, очень скоро смог убедиться на собственном опыте. Одним рывком выйдя из литературного подполья, он оказался в центре бурной общественной и литературной жизни. Однако за видимым фасадом публичности началась тайная работа, вызванная к жизни магнитной силой его имени. В тот короткий период, когда автора «Ивана Денисовича» признавала советская печать, хлынул поток писем со всей страны. «Это были не только замечания, но и огромное количество материала, который можно было обработать. Целый год я только и делал, что отвечал на письма». Сотни людей, бывших зэков и «врагов народа», просили о встрече, готовы были дать показания о своих исковерканных судьбах.

Но в том-то и была загвоздка, что слали письма не только *бывшие* жертвы произвола. Хрущёв, который давал разрешение на «Ивана Денисовича», был уверен, что рассказанная

история – о сталинских лагерях. Твардовский, добывая высшую санкцию, считал, что лагерные ужасы канули в небытие. Сам автор искренне полагал, что принёс в «Новый мир» рассказ о прошлом. Но в потоке писем попадались мятые конверты с карандашными листками – от эзков *нынешних*. И стоял в тех письмах общий крик: «Со времен Ивана Денисовича ничего не изменилось... Мы и сейчас находимся в тех же условиях... Кто же теперь *культ личности*, что мы опять сидим ни за что?» И писателю было уже не до славы – он чувствовал себя виновным за утрату живого ощущения Архипелага.

В том, наверное, и был смысл его необыкновенной сдержанности – отказаться от использования славы для себя лично, чтобы её хватило на всех страдавших и страдающих, на их общую правду. «Слава меня не словет... Я предвижу кратковременность её течения», – уверял он Твардовского и, пока не попал в опалу, продолжал опрашивать своих корреспондентов, собирать бесценные свидетельские показания. Так, благодаря исключительному доверию, которое вызвал «Один день Ивана Денисовича» у множества людей, разделивших с Шуховым его судьбу, смогла быть написана главная книга о печальной и страшной истории русского XX века.

Задуманный и начатый еще в 1958 году труд «Архипелаг ГУЛаг», опыт художественного исследования о государственной системе исправительно-трудовых лагерей, пополнился 227 свидетельствами, которые автор расположил в соответствии со своим общим планом-классификацией. Солженицын работал в «норах» и «укривищах» далеко от Москвы и чувствовал, что его жизнью управляет «шифр неба». «Я – не я, и моя литературная судьба – не моя, а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошептал, не дохрипел своей тюремной судьбы, своих поздних лагерных открытий».

Это раскалённое тысячестраничное повествование, созданное «толчками и огнём эческих памятей», в одиночку и в таких условиях, что никогда все части книги не лежали вместе на одном столе, стало вечным памятником человеческой и писательской отваге. Послесловие к «Архипелагу...» из эстонского «укривища» свидетельствовало, что автору открылся высший смысл и тайная сила только что завершённой работы. «Я кончаю её в знаменательный, дважды юбилейный год (и юбилеи-то связанные): 50 лет революции, создавшей Архипелаг, и 100 лет от изобретения колючей проволоки (1867)».

От «Архипелага ГУЛага» к эпопее «Красное Колесо» дорога лежала хоть и не близкая, но безупречно прямая: писатель исследовал истоки и смысл русской революции по её тюрьмам и жертвам. Как скажет один из героев Солженицына, Глеб Нержин: «Откуда ж лучше увидеть русскую революцию, чем сквозь решётки, вмурованные ею?» Но самому Солженицыну предстояло еще пережить многолетнюю травлю в своей стране; семейные и личные потрясения; исключение из Союза писателей, где его терпели всего семь лет; почти детективную историю с присуждением ему Нобелевской премии по литературе; захват чекистами рукописи «Архипелага ГУЛага» и немедленную публикацию книги на Западе.

И вот роковой февраль 1974-го – второй арест, сутки в тюрьме Лефортово, лишение советского гражданства, изгнание из страны. В день «выдворения» (так назвала власть акт высылки) Солженицын обнародовал манифест «Жить не по лжи!» – где призывал соотечественников выбрать нелёгкую для жизни, но единственную для души дорогу. «Наш путь: *ни в чём не поддерживать лжи сознательно!*.. Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет *не через меня!*.. Когда люди отшатываются от лжи – она просто перестаёт существовать». Автор «Ивана Денисовича» и «Архипелага ГУЛага» имел моральное право обратиться к молодёжи и сказать не только о трудностях выбора, который может осложнить жизнь в самом начале, но и о духовной отваге. «Тот, у кого неостанет смелости даже на защиту своей души, – пусть не гордится своими передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, – так пусть и скажет себе: я – быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло».

Двадцать лет Солженицын пробыл в изгнании, сначала в Швейцарии, потом в США. Выучились и стали взрослыми его сыновья, огромными тиражами и на множестве языков были напечатаны его сочинения. Все эти годы Солженицын пристально следил за тем, что происходит на родине, и с первых дней вынужденной эмиграции не сомневался, что рано или поздно вернётся домой. «Я знаю за собой право на русскую землю нисколько не меньшее, чем те, кто взял на себя смелость физически вытолкнуть меня, – говорил он весной 1974 года. – Я себя никак не считаю эмигрантом и надеюсь долго удержать это ощущение. Физически я выброшен с родины, но своей работой остаюсь повседневно и навсегда связан с нею... Вообще же смысл жизни всякого эмигранта – возврат на родину. Тот, кто не хочет этого и не работает для этого, – потерянный чужеземец».

Спустя тринадцать лет, в 1987-м, он размышлял: «Допустит ли Бог вернуться на родину? допустит ли послужить?» И замечал, что длительность жизни зависит от наличия цели: если человек очень нужен в своей задаче, то и живёт. Все годы он имел предчувствие, что вернётся живым. А дома его ждали соотечественники – читатели, которые точно знали: без печатания здесь и сейчас *всего* Солженицына нельзя доверять коварным ветрам политических перемен, нельзя считать бесповоротными уже происшедшие преобразования.

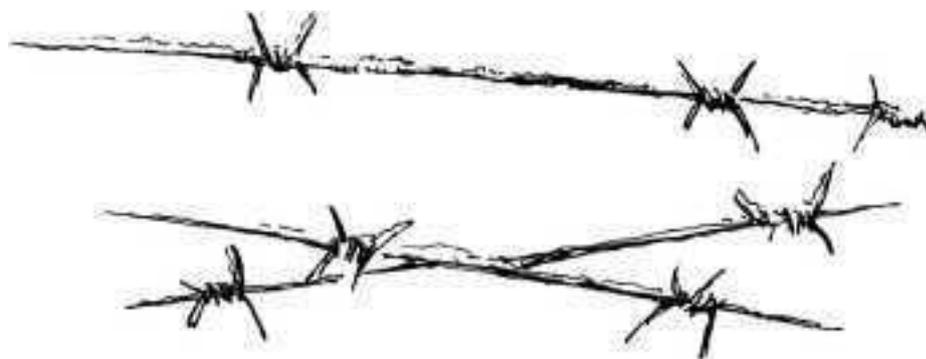
Но вот – свершилось. «Один день Ивана Денисовича» спустя двадцать восемь лет от момента публикации в «Новом мире» вернулся к русскому читателю и с 1990 года вновь стал издаваться в стране. В 1991-м, в составе малого собрания сочинений, трёхмиллионным тиражом был напечатан «Архипелаг ГУЛаг». Блокада была прорвана, и вслед за своими книгами, весной 1994-го, возвратился в Россию и сам писатель, совершив долгое путешествие по многим краям и областям страны от Владивостока до Москвы.

Ныне творчество Солженицына – как русская классика XX века – включено в обязательные школьные и вузовские программы по литературе. В университетах страны ежегодно проходят защиты дипломных работ, а также кандидатских и докторских диссертаций, посвященных автору «Архипелага ГУЛага» и «Красного Колеса». В дни 80-летнего юбилея писателя (1998) на телеэкраны страны вышли документальные фильмы о его жизни и творческой деятельности.

Но самое главное – вернувшись на родину, Солженицын продолжает плодотворно работать. За восемь возвратных лет написано и опубликовано несколько новых рассказов, а также тринадцать прозаических миниатюр из цикла «Крохотки». Восемнадцать таких этюдов были написаны ещё до высылки, однако ни один из них, ходивших в «самиздате», не был напечатан. Показательно, что эти своеобразные лирические «стихотворения в прозе» не давались Солженицыну в изгнании. «Только в России я оказался способен снова их писать, там – не мог...» Видимо, то пронзительное ощущение родины – в избе ли Есенина или близ старой колокольни, та упоительная радость дышать полной грудью под яблоней в крохотном садике после дождя, тот немой восторг при виде смешного жёлтого утёнка, задорного дворового пёсика или громкоголосого петушка с рыцарским красным гребнем – действительно можно почувствовать только дома.

И вот дома, в «Новом мире», которому Солженицын остался верен, печатаются главы новой мемуарной книги «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов». Переизданы на родине биографические очерки «Бодался телёнок с дубом», а также все основные художественные и публицистические сочинения. В 1998-м вышла новая работа писателя, посвящённая политическим преобразованиям в стране, – «Россия в обвале», и совсем недавно, в 2001-м, – историческое исследование «Двести лет вместе». Как и в 1962-м, когда Солженицын сенсационно дебютировал в литературе тремя рассказами, так и сегодня каждое его сочинение вызывает огромный интерес читателей, критиков, исследователей. Слово Солженицына продолжает свою художественную, нравственную – строительную работу.

*Л. И. Сараскина*



## Один день Ивана Денисовича



В пять часов утра, как всегда, пробило подъём – молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.

Звон утих, а за окном всё так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря: два – на зоне, один – внутри лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слышать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки – выносить.

Шухов никогда не просыпал подъёма, всегда вставал по нему – до развода было часа полтора времени своего, не казённого, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подрабывать: шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать; или пробежать по каптёркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку – тоже накормят, но там охотников много, отбою нет, а главное – если в миске что осталось, не удержишься, начнёшь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузёмина – старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет, и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:

– Здесь, ребята, закон – тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто поддыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать.

Насчёт кума – это, конечно, он загнул. Те-то себя берегают. Только береженье их – на чужой крови.

Всегда Шухов по подъёму вставал, а сегодня не встал. Ещё с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось – то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Всё не хотелось, чтобы утро.

Но утро пришло своим чередом.

Да и где тут угреешься – на окне наледи намётано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку – здоровый барак! – паутинка белая. Иней.

Шухов не вставал. Он лежал на верху *вагонки*, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один подвёрнутый рукав, сунув обе ступни вместе. Он не видел, но по звукам всё понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьмиведерных параш. Считается инвалид, лёгкая работа, а ну-ка поди вынеси, не проля! Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушилки. А вот – и в нашей (и наша была сегодня очередь валенки сушить). Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Помбригадир сейчас в хлеборезку пойдёт, а бригадир – в штабной барак, к нарядчикам.

Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит, – Шухов вспомнил: сегодня судьба решается – хотят их 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект «Соцгородок». А Соцгородок тот – поле голое, в увалах снежных, и, прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать – чтоб не убежать. А потом строить.

Там, верное дело, месяц погреться негде будет – ни конурки. И костра не разведёшь – чем топить? Вкалывай на совесть – одно спасение.

Бригадир озабочен, уладить идёт. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, заместо себя туда толкнуть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему нарядчику понести. А то и килограмм.

Попыток не убыток, не попробовать ли в санчасти *косануть*, от работы на денёк освободиться? Ну прямо всё тело разнимает.

И ещё – кто из надзирателей сегодня дежурит?

Дежурит – вспомнил – Полтора Ивана, худой да долгий сержант черноокий. Первый раз глянешь – прямо страшно, а узнали его – из всех де-журняков покладистей: ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую девятый барак.

Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое: наверху – сосед Шухова баптист Алёшка, а внизу – Буйновский, капитан второго ранга бывший, кавторанг.

Старики дневальные, вынеся обе параши, забранились, кому идти за кипятком. Бранились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20-й бригады рявкнул:

– Эй, *фитили!* – и запустил в них валенком. – Помирю!

Валенок глухо стукнулся об столб. Замолчали.

В соседней бригаде чуть буркотел помбригадир:

– Василь Фёдорыч! В продстоле передёрнули, гады: было девятисоток четыре, а стало три только. Кому ж недодать?

Он тихо это сказал, но уж конечно вся та бригада слышала и затаилась: от кого-то вечером кусочек отрежут.

А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала – или забило бы в ознобе, или ломота прошла. А ни то ни сё.

Пока баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно:

– Ну, держись, краснофлотцы! Тридцать градусов верных!

И Шухов решился – идти в санчасть.

И тут же чья-то имеющая власть рука сдёрнула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял худой Татарин.

Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо.

– Ще-восемьсот пятьдесят четыре! – прочёл Татарин с белой латки на спине чёрного бушлата. – Трое суток *кондея с выводом!*

И едва только раздался его особый сдавленный голос, как во всём полутёмном бараке, где лампочка горела не каждая, где на полусотне клопных вагонок спало двести человек, сразу заворочались и стали поспешно одеваться все, кто ещё не встал.

– За что, гражданин начальник? – придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов.

С выводом на работу – это ещё полкарцера, и горячее дадут, и задумываться некогда. Полный карцер – это когда *без вывода*.

– По подъёму не встал? Пошли в комендатуру, – пояснил Татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей.

На безволосом мятом лице Татарина ничего не выражалось. Он обернулся, ища второго кого бы, но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в чёрные ватные брюки с номерами на левом колене или, уже одетые, запахивались и спешили к выходу – переждать Татарина на дворе.

Если б Шухову дали карцер за что другое, где б он заслужил, – не так бы было обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых. Но отпроситься у Татарина было нельзя, он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для порядка, Шухов, как был в ватных брюках, не снятых на ночь (повыше левого колена их тоже был пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нём выведен чёрной, уже поблекшей краской номер Щ-854), надел телогрейку (на ней таких номера было два – на груди один и один на спине), выбрал свои валенки из кучи на полу, шапку надел (с таким же лоскутом и номером спереди) и вышел вслед за Татариним.

Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал, ни к чему, да и что скажешь? Бригадир бы мог маленько вступитья, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал. Татарина не стал дразнить. Приберегут завтрак, догадаются.

Так и вышли вдвоём.

Мороз был со мглой, прихватывающей дыхание. Два больших прожектора били по зоне наперекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что они совсем засветляли звёзды.

Скрипя валенками по снегу, быстро пробежали зэки по своим делам – кто в уборную, кто в каптёрку, иной – на склад посылок, тот крупу сдавать на индивидуальную кухню. У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый на этом морозе пробыть.

А Татарин в своей старой шинели с замусленными голубыми петлицами шёл ровно, и мороз как будто совсем его не брал.

Они прошли мимо высокого дощаного заплота вокруг БУРа – каменной внутрилагерной тюрьмы; мимо колючки, охранявшей лагерную пекарню от заключённых; мимо угла штабного барака, где, толстой проволокою подхваченный, висел на столбе обындевевший рельс; мимо другого столба, где в затишке, чтоб не показывал слишком низко, весь обмётанный инеем, висел термометр. Шухов с надеждой покосился на его молочно-белую трубочку: если б он показал сорок один, не должны бы выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало на сорок.

Вошли в штабной барак и сразу же – в надзирательскую. Там разъяснилось, как Шухов уже смекнул и по дороге: никакого карцера ему не было, а просто пол в надзирательской не мыт. Теперь Татарин объявил, что прощает Шухова, и велел ему вымыть пол.

Мыть пол в надзирательской было дело специального зэка, которого не выводили за зону, – дневального по штабному бараку прямое дело. Но, давно в штабном бараке обжившись, он доступ имел в кабинеты майора, и начальника режима, и кума, услуживал им, порой слышал такое, чего не знали и надзиратели, и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко. Те позвали его раз, другой, поняли, в чём дело, и стали *дёргать* на полы из работяг.

В надзирательской яро топилась печь. Раздевшись до грязных своих гимнастёрок, двое надзирателей играли в шашки, а третий, как был, в перепоясанном тулупе и валенках, спал на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой.

Шухов обрадовался и сказал Татарину за прощение:

– Спасибо, гражданин начальник! Теперь никогда не буду залёживаться.

Закон здесь был простой: кончишь – уйдёшь. Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало. Он взял ведро и без рукавичек (наскорях забыл их под подушкой) пошёл к колодцу.

Бригадиры, ходившие в ППЧ – планово-производственную часть, столпились несколько у столба, а один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр.

Снизу советовали:

– Ты только в сторону дыши, а то поднимется.

– Фуимется! – поднимется!., не влияет.

Тюрина, шуховского бригадира, меж них не было. Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Шухов с любопытством наблюдал.

А тот хрипло сказал со столба:

– Двадцать семь с половиной, хреновина.

И ещё доглядев для верности, спрыгнул.

– Да он неправильный, всегда брешет, – сказал кто-то. – Разве правильный в зоне повесят?

Бригадиры разошлись. Шухов побежал к колодцу. Под спущенными, но незавязанными наушниками поламывало уши морозом.

Сруб колодца был в толстой обледенелой, так что едва пролезало в дыру ведро. И верёвка стояла колом.

Рук не чувствуя, с дымящимся ведром Шухов вернулся в надзирательскую и сунул руки в колодезную воду. Потеплело.

Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо, они покинули шашки и сон и спорили, по сколько им дадут в январе пшена (в посёлке с продуктами было плохо, и надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали кой-какие продукты отдельно от поселковых, со скидкой).

– Дверь-то притягивай, ты, падло! Дует! – отвлёкся один из них.

Никак не годилось с утра мочить валенки. А и переобуться не во что, хоть и в барак побегу. Разных порядков с обувью наглядился Шухов за восемь лет сидки: бывало, и вовсе без валенок зиму переживали, бывало, и ботинок тех не видали, только лапти да ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный). Теперь вроде с обувью подналадилось: в октябре получил Шухов (а почему получил – с помбригадиром вместе в каптёрку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две тёплых портянки. С неделю ходил как именинник, всё новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели – житуха, умирать не надо. Так какой-то чёрт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, беспорядок – чтобы зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навыйлет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берёг, солидом умягчал, ботинки новёхонькие, ах! – ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинок. В одну кучу скинули, весной уж твои не будут. Точно, как лошадей в колхоз сгоняли.

Сейчас Шухов так догадался: проворно вылез из валенок, составил их в угол, скинул туда портянки (ложка звякнула на пол; как быстро ни снаряжался в карцер, а ложку не забыл) и босиком, щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки к надзирателям.

– Ты! гад! потише! – спохватился один, подбирая ноги на стул.

– Рис? Рис по другой норме идёт, с рисом ты не равняй!

– Да ты сколько воды набираешь, дурак? Кто ж так моет?

– Гражданин начальник! А иначе его не вымоешь. Въелась грязь-то...

– Ты хоть видал когда, как твоя баба полы мыла, чушка?

Шухов распрямился, держа в руке тряпку со стекающей водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прореженных цынгой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он доходил. Так доходил, что кровавым поносом начисто его пронесло, истощённый желудок ничего принимать не хотел. А теперь только шепелявень от того времени и осталось.

– От бабы меня, гражданин начальник, в сорок первом году отставили. Не упомяну, какая она и баба.

– Так вот они моют... Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить.

– Да на хрена его и мыть каждый день? Сырость не переводится. Ты вот что, слышь, восемьсот пятьдесят четвёртый! Ты легонько протри, чтоб только мокро было, и вали отсюда.

– Рис! Пшёнку с рисом ты не равняй!

Шухов бойко управлялся.

Работа – она как палка, конца в ней два: для людей делаешь – качество дай, для начальника делаешь – дай показуху.

А иначе б давно все подошли, дело известное.

Шухов протёр доски пола, чтобы пятен сухих не осталось, тряпку невыжатую бросил за печку, у порога свои валенки натянул, выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство, – и наискось, мимо бани, мимо тёмного охолодавшего здания клуба, надал к столовой.

Надо было ещё и в санчасть поспеть, ломало опять всего. И ещё надо было перед столовой надзирателям не попасться: был приказ начальника лагеря строгий – одиночек отставших ловить и сажать в карцер.

Перед столовой сегодня – случай такой дивный – толпа не густилась, очереди не было. Заходи.

Внутри стоял пар, как в бане, – напуски мороза от дверей и пар от баланды. Бригады сидели за столами или толкались в проходах, ждали, когда места освободятся. Прокликаясь через тесноту, от каждой бригады работяги по два, по три носили на деревянных подносах миски с баландой и кашей и искали для них места на столах. И всё равно не слышит, обалдуй, спина еловая, на тебе, толкнул поднос. Плесь, плесь! Рукой его свободной – по шее, по шее! Правильно! Не стой на дороге, не высматривай, где подлизать.

Там, за столом, ещё ложку не окунувши, парень молодой крестится. Бендеровец, значит, и то новичок: старые бендеровцы, в лагере пожив, от креста отстали.

А русские – и какой рукой креститься, забыли.

Сидеть в столовой холодно, едят больше в шапках, но не спеша, вылавливая разварки тленной мелкой рыбёшки из-под листьев чёрной капусты и выплёвывая косточки на стол. Когда их наберётся гора на столе – перед новой бригадой кто-нибудь смахнёт, и там они дохрястывают на полу.

А прямо на пол кости плевать – считается вроде бы неаккуратно.

Посреди барака шли в два ряда не то столбы, не то подпорки, и у одного из таких столбов сидел однобригадник Шухова Фетюков, стерёг ему завтрак. Это был из последних бригадников, поплоче Шухова. Снаружи бригада вся в одних чёрных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно – ступеньками идёт. Буйновского не посадишь с миской сидеть, а и Шухов не всякую работу возьмёт, есть пониже.

Фетюков заметил Шухова и вздохнул, уступая место.

– Уж застыло всё. Я за тебя есть хотел, думал – ты в кондее.

И – не стал ждать, зная, что Шухов ему не оставит, обе миски отштукатурит дочиста.

Шухов вытянул из валенка ложку. Ложка та была ему дорога, прошла с ним весь север, он сам отливал её в песке из алюминиевого провода, на ней и наколка стояла: «Усть-Ижма, 1944».

Потом Шухов снял шапку с бритой головы – как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке – и, взмучивая отстоявшуюся баланду, быстро проверил, что там попало в миску. Попало так, средне. Не с начала бака наливали, но и не доболтки. С Фетюкова станет, что он, миску стережа, из неё картошку выловил.

Одна радость в баланде бывает, что горяча, но Шухову досталась теперь совсем холодная. Однако он стал есть её так же медленно, внимательно. Уж тут хоть крыша гори – спешить не надо. Не считая сна, лагерник живёт для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином.

Баланда не менялась ото дня ко дню, зависело – какой овощ на зиму заготовят. В летошнем году заготовили одну солёную морковку – так и прошла баланда на чистой моркошке с сентября до июня. А нонче – капуста чёрная. Самое сытное время лагернику – июнь: всякий овощ кончается, и заменяют крупой. Самое худое время – июль: крапиву в котёл секут.

Из рыбки мелкой попадались всё больше кости, мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. На хрупкой сетке рыбьего скелета не оставив ни чешуйки, ни мясники, Шухов ещё мял зубами, высасывал скелет – и выплёвывал на стол. В любой рыбе ел он всё, хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались, а когда вываривались и плавали в миске отдельно – большие рыбы глаза – не ел. Над ним за то смеялись.

Сегодня Шухов сэкономил: в барак не зашедши, пайки не получил и теперь ел без хлеба. Хлеб – его потом отдельно нажать можно, ещё сытей.

На второе была каша из магары. Она застыла в один слиток, Шухов её отламывал кусочками. Магара не то что холодная – она и горячая ни вкуса, ни сытости не оставляет: трава и трава, только жёлтая, под вид пшена. Придумали давать её вместо крупы, говорят – от китайцев. В варёном весе триста грамм тянет – и лады: каша не каша, а идёт за кашу.

Облизав ложку и засунув её на прежнее место в валенок, Шухов надел шапку и пошёл в санчасть.

Было всё так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звёзды. И всё так же широкими струями два прожектора резали лагерную зону. Как этот лагерь, Особый, зачинали – ещё фронтowych ракет осветительных больно много было у охраны, чуть погаснет свет – сыпят ракетами над зоной, белыми, зелёными, красными, война настоящая. Потом не стали ракет кидать. Или дороги обходятся?

Была всё та же ночь, что и при подъёме, но опытному глазу по разным мелким приметам легко было определить, что скоро ударят развод. Помощник Хромого (дневальный по столовой Хромой от себя кормил и держал ещё помощника) пошёл звать на завтрак инвалидный шестой барак, то есть не выходящих за зону. В культурно-воспитательную часть поплёлся старый художник с бородкой – за краской и кисточкой, номера писать. Опять же Татарин широкими шагами, спеша, пересек *линейку* в сторону штабного барака. И вообще снаружи народу поменело – значит, все приткнулись и греются последние сладкие минуты.

Шухов проворно спрятался от Татарина за угол барака: второй раз попадётся – опять пригребётся. Да и никогда зевать нельзя. Стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали ж вот приказ по баракам – перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть. Иной надзиратель бредёт, как слепой, ему всё равно, а для других это сласть. Сколько за ту шапку в кондей перетаскали, псы клятые. Нет уж, за углом перестоим.

Миновал Татарин – и уже Шухов совсем намерился в санчасть, как его озарило, что ведь сегодня утром до развода назначил ему длинный латыш из седьмого барака прийти купить два стакана самосада, а Шухов захлопотался, из головы вон. Длинный латыш вечером вчера получил посылку, и, может, завтра уж этого самосаду не будет, жди тогда месяц новой посылки. Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый. Буроватенький такой.

Раздосадовался Шухов, затоптался – не повернуть ли к седьмому бараку. Но до санчасти совсем мало оставалось, и он потрусил к крыльцу санчасти.

Слышно скрипел снег под ногами.

В санчасти, как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу. И стены крашены эмалевой белой краской. И белая вся мебель.

Но двери кабинетов были все закрыты. Врачи-то, поди, ещё с постелей не подымались. А в дежурке сидел фельдшер – молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым столиком, в свеженьком белом халате – и что-то писал.

Никого больше не было.

Шухов снял шапку, как перед начальством, и, по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными-ровными строчками и каждую

строчку, отступя от края, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это – не работа, а по левой, но ему до того не было дела.

– Вот что... Николай Семёныч... я вроде это... болен... – совестливо, как будто зарясь на что чужое, сказал Шухов.

Вдовушкин поднял от работы спокойные, большие глаза. На нём был чепчик белый, халат белый, и номеров видно не было.

– Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришёл? Ты же знаешь, что утром приёма нет? Список освобождённых уже в ППЧ.

Всё это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще.

– Да ведь, Коля... Оно с вечера, когда нужно, так и не болит...

– А что – оно? Оно – что болит?

– Да разобраться, бывает, и ничего не болит. А недужит всего.

Шухов не был из тех, кто липнет к санчасти, и Вдовушкин это знал. Но право ему было дано освободить утром только двух человек – и двух он уже освободил, и под зеленоватым стеклом на столе записаны были эти два человека и подведена черта.

– Так надо было беспокоиться раньше. Что ж ты – под самый развод? На!

Вдовушкин вынул термометр из банки, куда они были спущены сквозь прорези в марле, обтёр от раствора и дал Шухову держать.

Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, только-только чтоб не перекувырнуться вместе с ней. Неудобное место такое он избрал даже не нарочно, а показывая невольно, что санчасть ему чужая и что пришёл он в неё за малым.

А Вдовушкин писал дальше.

Санчасть была в самом глухом, дальнем углу зоны, и звуки сюда не достигали никакие. Ни ходики не стучали – заключённым часов не положено, время за них знает начальство. И даже мыши не скребли – всех их повыловил больничный кот, на то поставленный.

Было дивно Шухову сидеть в такой чистой комнате, в тишине такой, при яркой лампе целых пять минут и ничего не делать. Осмотрел он все стены – ничего на них не нашёл. Осмотрел телогрейку свою – номер на груди пообтёрся, каб не зацапали, надо подновить. Свободной рукой ещё бороду опробовал на лице – здоровая выперла, с той бани растёт, дней боле десяти. А и не мешает. Ещё дня через три баня будет, тогда и поброют. Чего в парикмахерской зря в очереди сидеть? Красоваться Шухову не для кого.

Потом, глядя на беленький-беленький чепчик Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловать, как он пришёл туда с повреждённой челюстью и – недотыка ж хренова! – доброй волею в строй вернулся. А мог пяток дней полежать.

Теперь вот грезится: заболеть бы недельки на две, на три, не насмерть и без операции, но чтобы в больничку положили, – лежал бы, кажется, три недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым – лады.

Но, вспомнил Шухов, теперь и в больничке отлёжу нет. С каким-то этапом новый доктор появился – Степан Григорьич, гонкий такой да звонкий, сам сумутится, и больным нет покою: выдумал всех ходячих больных выгонять на работу при больнице: загородку горючить, дорожки делать, на клумбы землю нанашивать, а зимой – снегозадержание. Говорит, от болезни работа – первое лекарство.

От работы лошади дохнут. Это понимать надо. Ухайдакался бы сам на каменной кладке – небось бы тихо сидел.

...А Вдовушкин писал своё. Он вправду занимался работой «левой», но для Шухова непостижимой. Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отдал, а сегодня обещал показать Степану Григорьичу, тому самому врачу.

Как это делается только в лагерях, Степан Григорьич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером, поставил его на работу фельдшером, и стал Вдовушкин учиться делать

внутривенные уколы на тёмных работах да на смиренных литовцах и эстонцах, кому и в голову никак бы не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со второго курса. Степан Григорьевич хотел, чтоб он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле.

...Сквозь двойные, непрозрачные от белого льда стёкла еле слышно донёлся звонок развода. Шухов вздохнул и встал. Знобило его, как и раньше, но косануть, видно, не проходило. Вдовушкин протянул руку за термометром, посмотрел.

– Видишь, ни то ни сё, тридцать семь и две. Было бы тридцать восемь, так каждому ясно. Я тебя освободить не могу. На свой страх, если хочешь, останься. После проверки посчитает доктор больным – освободит, а здоровым – отказчик, и в БУР. Сходи уж лучше за зону.

Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел.

Тёплый зяблого разве когда поймёт?

Мороз жал. Мороз едкой мглицей больно охватил Шухова, вынудил его закашляться. В морозе было двадцать семь, в Шухове тридцать семь. Теперь кто кого.

Трусцой побежал Шухов в барак. Линейка напролёт была вся пуста, и лагерь весь стоял пуст. Была та минута короткая, разморчивая, когда уже всё оторвано, но прикидываются, что нет, что не будет развода. Конвой сидит в тёплых казармах, сонные головы прислоня к винтовкам, – тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться. Вахтёры на главной вахте подбрасывают в печку угля. Надзиратели в надзирательской докуривают последнюю цыгарку перед обыском. А заключённые, уже одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми верёвочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза, – лежат на нарах поверх одеял в валенках и, глаза закрыв, обмирают. Аж пока бригадир крикнет: «Па-дъём!»

Дремала со всем девятым баракком и 104-я бригада. Только помбригадир Павло, шевеля губами, что-то считал карандашиком да на верхних нарах баптист Алёшка, сосед Шухова, чистенький, приумытый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина евангелия.

Шухов вбежал хоть и стремглав, а тихо совсем, и – к помбригадировой вагонке.

Павло поднял голову.

– Нэ посадылы, Иван Денисыч? Живы? – (Украинцев западных никак не переучат, они и в лагере по отечеству да выкают.)

И, со стола взявши, протянул пайку. А на пайке – сахару черпачок опрокинут холмиком белым.

Очень спешил Шухов и всё же ответил прилично (помбригадир – тоже начальство, от него даже больше зависит, чем от начальника лагеря). Уж как спешил, с хлеба сахар губами забрал, языком подлизнул, одной ногой на кронштейник – лезть наверх постель заправлять, – а пайку так и так посмотрел и рукой на лету взвесил: есть ли в ней те пятьсот пятьдесят грамм, что положены. Паек этих тысячу не одну переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях, и хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось, и хоть шуметь и качать права он, как человек робкий, не смел, но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке – только какая, велика ли? Вот два раза на день и смотришь, душу успокоить – может, сегодня обманули меня не круто? Может, в моей-то граммы почти все?

Грамм двадцать не дотягивает, – решил Шухов и преломил пайку надвое. Одну половину за пазуху сунул, под телогрейку, а там у него карманчик белый специально пришит (на фабрике телогрейки для зэков шьют без карманов). Другую половину, сэкономленную за завтраком, думал и съесть тут же, да наспех еда не еда, пройдёт даром, без сытости. Потя-

нулся сунуть полпайки в тумбочку, но опять раздумал: вспомнил, что дневальные уже два раза за воровство биты. Барак большой, как двор проезжий.

И потому, не выпуская хлеба из рук, Иван Денисович вытянул ноги из валенок, ловко оставив там и портянки и ложку, взлез босой наверх, расширил дырочку в матрасе и туда, в опилки, спрятал свои полпайки. Шапку с головы содрал, вытащил из неё иголочку с ниточкой (тоже запрятана глубоко, на *шмоне* шапки тоже щупают: одна надзиратель об иголку накололся, так чуть Шухову голову со злости не разбил). Стежь, стежь, стежь – вот и дырочку за пайкой спрятанной прихватил. Тем временем сахар во рту дотаял. Всё в Шухове было напряжено до крайности – вот сейчас нарядчик в дверях заорёт. Пальцы Шухова славно шевелились, а голова, забегая вперёд, располагала, что дальше.

Баптист читал евангелие не вовсе про себя, а как бы в дыхание (может, для Шухова нарочно, они ведь, эти баптисты, любят агитировать, вроде политруков):

– «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь.»

За что Алёшка молодец: эту книжечку свою так засавывает ловко в щель в стене – ни на едином *шмоне* ещё не нашли.

Теми же быстрыми движениями Шухов свесил на перекладину бушлат, повиытаскивал из-под матраса рукавички, ещё пару худых портянок, верёвочку и тряпочку с двумя рубезками. Опилки в матрасе чудок разровнял (тяжёлые они, сбитые), одеяло вкруговую подоткнул, подушку кинул на место – босиком же слез вниз и стал обуваться, сперва в хорошие портянки, новые, потом в плохие, поверх.

И тут бригадир прогаркнулся, встал и объявил:

– Кон-чай ночевать, сто четвёртая! Вы-ходи!

И сразу вся бригада, дремала ли, не дремала, встала, зазевала и пошла к выходу. Бригадир девятнадцать лет сидит, он на развод минутой раньше не выгонит. Сказал – «выходи!» – значит, край выходить.

И пока бригадники, тяжело ступая, без слова выходили один за другим сперва в коридор, потом в сени и на крыльцо, а бригадир 20-й, подражая Тюрину, тоже объявил: «Выходи!» – Шухов доспел валенки обути на две портянки, бушлат надеть сверх телогрейки и туго вспоясаться верёвочкой (ремни кожаные были у кого, так отобрали – нельзя в Особлаге ремень).

Так Шухов всё успел и в сенях нагнал последних своих бригадников – спины их с номерами выходили через дверь на крылечко. Толстоватые, наворачившие на себя всё, что только было из одежды, бригадники наискосок, гуськом, не домогаясь друг друга нагнать, тяжело шли к линейке и только поскрипывали.

Всё ещё темно было, хотя небо с восхода зеленело и светлело. И тонкий, злой потягивал с восхода ветерок.

Вот этой минуты горше нет – на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь.

У линейки метался младший нарядчик.

– Ну, Тюрин, сколько ждать? Опять тянешься?

Младшего-то нарядчика разве Шухов боится, только не Тюрин. Он ему и дых по морозу зря не погонит, топает себе молча. И бригада за ним по снегу: топ-топ, скрип-скрип.

А килограмм сала, должно, отнёс – потому что опять в свою колонну пришла 104-я, по соседним бригадам видать. На Соцгородок победней да поглупей кого погонят. Ой, лют там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни укрыва, ни грева!

Бригадиру сала много надо: и в ППЧ нести и своё брюхо утолакивать. Бригадир хоть сам посылки не получает – без сала не сидит. Кто из бригады получит – сейчас ему дар несёт.

А иначе не проживёшь.

Старший нарядчик отмечает по дощечке:

– У тебя, Тюрин, сегодня один болен, на выходе двадцать три?

– Двадцать три, – бригадир кивает.

Кого ж нет? Пантелеева нет. Да разве он болен?

И сразу шу-шу-шу по бригаде: Пантелеев, сука, опять в зоне остался. Ничего он не болен, *опер* его оставил. Опять будет стучать на кого-то.

Днём его вызовут без помех, хоть три часа держи, никто не видел, не слышал.

А проводят по санчасти...

Вся линейка чернела от бушлатов – и вдоль её медленно переталкивались бригады вперёд, к шмону. Вспомнил Шухов, что хотел обновить номерок на телогрейке, протискался через линейку на тот бок. Там к художнику два-три зэка в очереди стояли. И Шухов стал. Номер нашему брату – один вред, по нему издали надзиратель тебя заметит, и конвой запишет, а неновишь номера в пору – тебе же и кондей: зачем об номере не заботишься?

Художников в лагере трое, пишут для начальства картины бесплатные, а ещё в черёд ходят на развод номера писать. Сегодня старик с бородкой седенькой. Когда на шапке номер пишет кисточкой – ну точно как поп миром лбы мажет.

Помалюет, помалюет и в перчатку дышит. Перчатка вязаная, тонкая, рука окостеневает, чисел не выводит.

Художник обновил Шухову «Щ-854» на телогрейке, и Шухов, уже не запахивая бушлата, потому что до шмона оставалось недалеко, с верёвочкой в руке догнал бригаду. И сразу разглядел: однобригадник его Цезарь курил, и курил не трубку, а сигарету – значит, подстрельнуть можно. Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и вполоборота глядел мимо него.

Он глядел мимо и как будто равнодушно, но видел, как после каждой затяжки (Цезарь затягивался редко, в задумчивости) ободок красного пепла передвигался по сигарете, убавляя её и подбираясь к мундштуку.

Тут же и Фетюков, шакал, подсосался, стал прямо против Цезаря и в рот ему засматривает, и глаза горят.

У Шухова ни табачинки не осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздобыть – он весь напрягся в ожидании, и желанней ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем, кажется, воля сама, – но он бы себя не уронил и так, как Фетюков, в рот бы не смотрел.

В Цезаре всех наций намешано: не то он грек, не то еврей, не то цыган – не поймёшь. Молодой ещё. Картины снимал для кино. Но и первой не доснял, как его посадили. У него усы чёрные, слитые, густые. Потому не сбрили здесь, что на *деле* так снят, на карточке.

– Цезарь Маркович! – не выдержав, прослюнявил Фетюков. – Да-айте разок потянуть!

И лицо его передёргивалось от жадности и желания.

...Цезарь приоткрыл веки, полуспущенные над чёрными глазами, и посмотрел на Фетюкова. Из-за того он и стал курить чаще трубку, чтоб не перебивали его, когда он курит, не просили дотянуть. Не табака ему было жалко, а прерванной мысли. Он курил, чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то. Но едва он поджигал сигарету, как сразу в нескольких глазах видел: «Оставь докурить!»

...Цезарь повернулся к Шухову и сказал:

– Возьми, Иван Денисыч!

И большим пальцем вывернул горящий недокурочек из янтарного короткого мундштука.

Шухов встрепенулся (он и ждал так, что Цезарь сам ему предложит), одной рукой поспешно благодарно брал недокурочек, а второю страховал снизу, чтоб не обронить. Он не обижался, что Цезарь брезговал дать ему докурить в мундштуке (у кого рот чистый, а у кого и гунявый), и пальцы его закаленные не обжигались, держась за самый огонь. Главное, он

Фетюкова-шакала пересек и вот теперь тянул дым, пока губы стали гореть от огня. М-м-м-м! Дым разошёлся по голодному телу, и в ногах отдалось и в голове.

И только эта благодать по телу разлилась, как услышал Иван Денисович гул:

– Рубахи нижние отбирают!..

Так и вся жизнь у зэка. Шухов привык: только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись.

Почему – рубахи? Рубахи ж сам начальник выдавал?.. Не, не так...

Уж до шмона оставалось две бригады впереди, и вся 104-я разглядела: подошёл от штабного барака начальник режима лейтенант Волковой и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, без Волнового шмонавшие кое-как, тут зарьялись, кинулись, как звери, а старшина их крикнул:

– Ра-ас-стегнуть рубахи!

Волнового не то что зэки и не то что надзиратели – сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот Бог шельму метит, фамильицу дал! – иначе, как волк, Волковой не смотрит. Тёмный, да длинный, да насупленный – и носится быстро. Вынырнет из барака: «А тут что собрались?» Не ухоронишься. Поперву он ещё плётку таскал, как рука до локтя, кожаную, кручёную. В БУРе ею сек, говорят. Или на проверке вечерней столпятся зэки у барака, а он подкрадётся сзади да хлесь плетью по шее: «Почему в строй не стал, падло?» Как волной от него толпу шарахнет. Обожжённый за шею схватится, вытрет кровь, молчит: каб ещё БУРа не дал.

Теперь что-то не стал плётку носить.

В мороз на простом шмоне не по вечерам, так хоть утром порядок был мягкий: заключённый расстёгивал бушлат и отводил его полы в стороны. Так шли по пять, и пять надзирателей навстречу стояло. Они обхлопывали зэка по бокам запоясанной телогрейки, хлопали по единственному положенному карману на правом колене, сами бывали в перчатках, и если что-нибудь непонятное нащупывали, то не вытягивали сразу, а спрашивали, лентясь: «Это – что?»

Утром что искать у зэка? Ножи? Так их не из лагеря носят, а в лагерь. Утром проверить надо, не несёт ли с собой еды килограмма три, чтобы с нею сбежать. Было время, так так этого хлеба боялись, кусочка двухсотграммового на обед, что был приказ издан: каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чём тут они, враги, располагали выгадать – нельзя додуматься, а скорей чтобы людей мучить, забота лишняя: пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан, а они, куски, всё равно похожие, все из одного хлеба, и всю дорогу об том думай и мучайся, не подменят ли твой кусок, да друг с другом спорь, иногда и до драки. Только однажды сбежали из производственной зоны трое на автомашине и такой чемодан хлеба прихватили. Опомнились тогда начальники и все чемоданы на вахте порубали. Носи, мол, опять всяк себе.

Ещё проверить утром надо, не одет ли костюм гражданский под зэковский? Так ведь вещи гражданские давно начисто у всех отменены и до конца срока не отдадут, сказали. А конца срока в этом лагере ни у кого ещё не было.

И проверить – письма не несёт ли, чтоб через вольного толкануть? Да только у каждого письмо искать – до обеда проканителишься.

Но крикнул что-то Волковой искать – и надзиратели быстро перчатки снимали, телогрейки велют распусть (где каждый тепло барачное спрятал), рубахи расстегнуть – и лезут перещупывать, не поддето ли чего в обход устава. Положено зэку две рубахи – нижняя да верхняя, остальное снять! – вот как передали зэки из ряда в ряд приказ Волкового. Какие раньше бригады прошли – ихее счастье, уж и за воротами некоторые, а эти – открывайся! У кого поддето – скидай тут же на морозе!

Так и начали, да неурядка у них вышла: в воротах уже прочистилось, конвой с вахты орёт: давай, давай! И Волковой на 104-й сменил гнев на милость: записывать, на ком что лишнее, вечером сами пусть в каптёрку сдадут и объяснительную напишут: как и почему скрыли.

На Шухове-то всё казённое, на, шупай – грудь да душа, а у Цезаря рубаху байковую записали, а у Буйновского, кесь, жилетик или напузник какой-то. Буйновский – в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере трёх месяцев нет:

– Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!..

Имеют. Знают. Это ты, брат, ещё не знаешь.

– Вы не советские люди! – долбаёт их капитан.

Статью из кодекса ещё терпел Волковой, а тут, как молния чёрная, передёрнулся:

– Десять суток строгого!

И потише старшине:

– К вечеру оформишь.

Они по утрам-то не любят в карцер брать: человеко-выход теряется. День пусть спину погнёт, а вечером его в БУР.

Тут же и БУР по левую руку от линейки: каменный, в два крыла. Второе крыло этой осенью достроили – в одном помещаться не стали. На восемнадцать камер тюрьма, да одиночки из камер нагорожены. Весь лагерь деревянный, одна тюрьма каменная.

Холод под рубаху зашёл, теперь не выгонишь. Что укутаны были зэки – всё зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В койку больничную лечь бы сейчас – и спать. И ничего больше не хочется. Одеядло бы потяжелыне.

Стоят зэки перед воротами, застёгиваются, завязываются, а снаружи конвой:

– Давай! Давай!

И нарядчик в спины пихает:

– Давай! Давай!

Одни ворота. Предзонник. Вторые ворота. И перила с двух сторон около вахты.

– Стой! – шумит вахтёр. – Как баранов стадо. Разберись по пять!

Уже рассмеркивалось. Догорал костёр конвоя за вахтой. Они перед разводом всегда разжигают костёр – чтобы греться и чтоб считать виднее.

Один вахтёр громко, резко отсчитывал:

– Первая! Вторая! Третья!

И пятёрки отделялись и шли цепочками отдельными, так что хоть сзади, хоть спереди смотри: пять голов, пять спин, десять ног.

А второй вахтёр – контролёр, у других перил молча стоит, только проверяет, счёт правильный ли.

И ещё лейтенант стоит, смотрит.

Это от лагеря.

Человек – дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет – свою голову туда добавишь.

И опять бригада слилась вся вместе.

И теперь сержант конвоя считает:

– Первая! Вторая! Третья!

И пятёрки опять отделяются и идут цепочками отдельными.

И помощник начальника караула с другой стороны проверяет.

И ещё лейтенант.

Это от конвоя.

Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распишешься – своей головой заменишь.

А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеётся над зэками. Конвоиры все в полушубках, лишь шестеро в тулупах. Тулупы у них сменные: тот надевает, кому на вышку идти.

И ещё раз, смешав бригады, конвой пересчитал всю колонну ТЭЦ по пятёркам.

– На восходе самый большой мороз бывает! – объявил кавторанг. – Потому что это последняя точка ночного охлаждения.

Капитан любит вообще объяснять. Месяц какой – молодой ли, старый, – рассчитает тебе на любой год, на любой день.

На глазах доходит капитан, щёки ввалились, – а бодрый.

Мороз тут за зоной при потягивающем ветерке крепко покусывал даже ко всему терпевшееся лицо Шухова. Смекнув, что так и будет по дороге на ТЭЦ дуть всё время в морду, Шухов решил надеть тряпочку. Тряпочка на случай встречного ветра у него, как и у многих других, была с двумя рубезочками длинными. Признали зэки, что тряпочка такая помогает. Шухов обхватил лицо по самые глаза, по низу ушей рубезочки провёл, на затылке завязал. Потом затылок отворотом шапки закрыл и поднял воротник бушлата. Ещё передний отворот шапчёлки спустил на лоб. И так у него спереди одни глаза остались. Бушлат по поясу он хорошо затянул бечёвочкой. Всё теперь ладно, только рукавицы худые и руки уже застылые. Он тёр и хлопал ими, зная, что сейчас придётся взять их за спину и так держать всю дорогу.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.